

ЗИНАИДА ГИППИУС

СЕРЕЖА
ПОДРОС

Зинаида Николаевна Гиппиус
Сережа подросток
Серия «Мемуары Мартынова», книга 4

Аннотация

«Если я думаю про давнишние годы, например, когда мне было семь лет (теперь мне целых четырнадцать, т. е. скоро будет) – я себе кажусь немножко сумасшедшим. Может, и, правда, дети капельку сумасшедшие, в том и отличаются от больших?..»

Содержание

1	4
2	7
3	10
4	14
5	20

Зинаида Гиппиус

Сереза подросток

(Наталья Павловна)

1

Если я думаю про давнишние годы, например, когда мне было семь лет (теперь мне целых четырнадцать, т. е. скоро будет) – я себе кажусь немножко сумасшедшим. Может, и, правда, дети капельку сумасшедшие, в том и отличаются от больших?

Особенно с удивлением вспоминаю год, когда мы жили в Мереве на даче, в Малороссии; игры мои в святого, затвор из снопов... И гигантские шаги, и Надю-поповну. Великолепно понимаю, что был тогда в Надю просто влюблен: уж очень хорошо она бегала на гигантских шагах, никогда не падала. Но зачем я молился, чтобы она упала, – этого понять нельзя. Ведь знал, упади она хоть раз – все кончится. Так и случилось, и сам я потом ревел целый вечер.

Или тоже относительно святости. Ребенок вдруг начинает мечтать о схимниках, о спасении души... Это ненормальное влияние бабушкиных книг.

Теперь я, прежде всего, реалист. Я не отрицаю религию в

общем. Но насчет того, чтобы делать из себя монаха... это мы еще поглядим.

Вот скоро полгода как я, совершенно сознательно, влюблен в Лили Войскович. Из всех знакомых барышень я выбрал ее: она не глупа, грациозна (только мала ростом), у нее длинные-предлинные косы и совсем не такого неприятно-рыжего цвета, как волосы у ее брата Володи. На катке или где-нибудь в знакомом доме на балу, я всегда с Лили вместе. Кроме того, я время от времени назначаю ей свиданья в Летнем саду. Мы прогуливаемся и болтаем.

Очень возможно, что я впоследствии женюсь на Лили. Она многого не понимает, часто кривляется и говорит, что «эстетка». Но не стоит обращать внимания: женщина – мягкий воск; нужно только доброе руководство.

Брат Лили, Володя Войскович, мой одноклассник. Слабый. Тоже «эстет», и я его не люблю, хотя он ко мне льнет. Должно быть, за мою силу.

Я с самого первого класса гимназии понял: ум в жизни очень много значит, а сила еще больше. И теперь у нас даже старшие относятся ко мне с уважением. Ведь по годам я очень велик, а бицепсы у меня такие – дай Бог, восемнадцатилетнему.

Самая дрянь у нас в классе эти «эстеты»: ни футбол, ни теннис, ни каток – все не по ним. Просто силенок не хватает, то и фыркают. У них, правда, есть преимущество: не так грубы и грязны, как некоторые у нас, – с виду, по крайней

мере; потому что не с виду, то есть не в смысле извощичьих обыкновенных слов, и они подчас ведут такие разговоры, что даже мне неприятно: а я лезу в святые, все могу слушать, я реалист.

2

Володя Войскович припелся ко мне после обеда с алгебраической задачей. Очень слаб, – тоже будто бы от эстетства, – а я в классе первый математик. Я не только все в цифрах понимаю, как они соединяются, укладываются, что из них выходит, – я даже каждую цифру в отдельности люблю. Люблю, что 2 головку гнет, 8 животик переплетает, а 7 такое гордое, прямое. Нуль, и тот люблю, иногда жалею: он для цифр слуга или игрушка. Захочет какая-нибудь уменьшиться – сейчас наставит себе нулей с правой руки, захочет увеличиться – с левой. А нули покоряются.

– Хорошая у тебя комната, – сказал Войскович, мигая рыжими ресницами. – У меня гораздо меньше, и в моей все слышно, если гости. А у тебя отдельно.

– Да квартира громадная, столько комнат! Бабушкина комната, например, уж совсем на отлете. Рядом с моей – пустая, дядя Миша в ней живет, когда с Кавказа приезжает. Вот сейчас полтора месяца жил, завтра собрался ехать. Ну, давай, гляди задачу, а то я свое кончил, может, к гостям пойду, нынче дядю Мишу как раз провожают.

– Отвальная? И ты о дядюшке будешь плакать? Что он у вас, с наследством, что ли?

– Вот дурак, хоть и эстет. Да дядя совсем молодой, ты же его видел! Он агроном на Кавказе. Высокий, бритый, похож

на англичанина. Прежде усы носил, было хуже. И характер у него теперь отличный. Мы страшно дружны!

Войкович поднял брови, – и они у него рыжие.

– А-а, да! Я его и сейчас видел, как к тебе шел. – Впереди, – даму с господином он встречал. Господин такой большой, брыластый, физиономия – квадрат. А она – вот прелесть черноволосая! Тонка – стебель ириса, а глаза фейные. Кто, скажи, ради Бога?

– Почему я знаю? Гостья. И чего тебе? Ведь ты с задачей пришел?

Я рассердился, – чего ему, в самом деле? Но когда он сказал про мужа: квадратное лицо, я догадался, что это Наталья Павловна.

– Скажи, кто, и сейчас потом задачу, – не отставал Войкович. – Я только бросил взгляд и уж понял: она поэзия и сказка!

– Вот тебе и сказка, что убирайся совсем, не покажу задачи!

Войкович сморщил свои рыжие веснушки.

– Ты злишься, тебе, верно, приспичило туда идти, ты сам уж не влюблен ли в эти фейные глаза? Ведь врешь, что не знаешь, про кого говорю? Синий шарф и тоненькие-претоненькие ножки. Твой дядя не дурак, сам ботинки снимал.

Это было уже слишком. Я пожал плечами и сказал ледяным тоном:

– Войкович, ты отлично знаешь, что я влюблен в твою

сестру Лили. Дама в синем шарфе, если у нее большой муж, вероятно, мамина приятельница Беренс. Нам смешно говорить о подобных влюблениях, она старая, у нее уж сыну третий год... Давай сюда задачу.

Войскович повторил несколько раз: «Беренс, Беренс...», потом ухмыльнулся: «Вот идиот, нашел старуху!», наконец, придвинул стул, и мы занялись задачей. Я объяснял терпеливо, хотя в этот вечер Войскович мне был особенно противен со своими оттопыренными ушами и наглым эстетством.

3

Не пошел к гостям, не захотел. После Войсковича отправился в самую дальнюю комнату – к бабушке.

Странно, как люди медленно стареют. Бабушка была очень старая, когда я был маленький, и теперь точь-в-точь такая же. Оттого, верно, и не видит, что я вырос: так же зовет меня «батюшка белый», так же наставляет: «учись, батюшка, учись...»

У бабушки всегда ужасно тепло – от керосиновой лампы, не любит электричества. Да и печка натоплена. Весь угол в образах, перед ними зеленая лампадка.

Я все эти образа наизусть знаю, помню, когда какие особенно любил. Например, любил Симеона Столпника. Теперь он мне, конечно, ничего не говорит. Просто, картинка. Но есть один образ... Впрочем, я должен сказать, что я вообще люблю – Божью Матерь. Я и всех Мадонн в Эрмитаже люблю, иногда нарочно хожу смотреть. Очень хорошие, только некоторые – как бы сказать? уж слишком простые: можно даже вообразить, что с ними гулять идешь, а это уж не то. У бабушки есть одна – я в детстве ужасно радовался, когда перед праздником снимали ризу чистить, и все было видно, и синее покрывало, и ребеночек живой... У этой Божьей Матери личико круглое, глаза карие, а на правой щеке чуть заметная царапина и капелька крови. Мне нравилось, что ка-

пелька крови, то есть как бы настоящая, живая... А все-таки это Божья Матерь, и даже чем-то иная, по-иному живая, не совсем вроде Мадонны в Эрмитаже. Ну, это трудно объяснить. Все равно. Я только хотел сказать, что бабушкину, с капелькой крови, я и теперь люблю.

От бабушки я прямо прошел опять к себе. Гости, кажется, не разъехались, да мне-то что?

Разделся. Лег. Но лампочку у постели не потушил. Мне нравится так, – лечь и еще не спать, а думать о чем придется, о чем само думается. Всегда думается о хорошем.

Но тут сначала полез в голову Войскович. Как он противно о Наталии Павловне... Оставил бы он ее в покое. Наталья Павловна – большой друг мамы. Конечно, я преувеличил, что старуха; даже мама, в сущности, не старуха, ей 34 года, это не старость же, а Наталья Павловна гораздо младше. Но все равно. Я Натальей Павловной не люблю особенно часто встречаться, заговаривает со мной всегда, и как-то робко: мне это не нравится. Или вдруг ужасно веселая, и вдруг опять ко мне: «Сережа милый, отчего вы такой серьезный? Отчего не поговорите со мной? Разве мы не друзья?»

Конечно, не друзья, дружба совсем иное; и я не знаю, о чем с ней говорить. Если, случается, она приезжает перед обедом, а я в маленькой гостиной, где камин, – я сейчас слышу, как она идет через залу, у нее тихонько звенят браслеты, и шаги я знаю. Обыкновенно, я тогда ухожу к себе в комнату. Что мне?..

А шаги у нее легкие... Шаги... За что я в детстве любил гигантские шаги? За то, что делаешься легким, и летаешь. Теперь за то же люблю на коньках. Скользишь, скользишь, и вот совсем летишь. Я буду летчиком, это я давно решил, только... ведь там летишь не сам, аэроплан тебя везет. Вдруг это не то, и на коньках лучше?..

Тут я откровенно заснул и сию же минуту увидел сон: будто я на катке, в Юсуповом саду, и мы с Лили мчимся вперед, – все быстрее, все быстрее... Я держу Лили за руку, но, впрочем, не смотрю на нее. И вот, будто это уж не Юсупов сад, а просто белое-белое поле, как белое море, только без горизонта, и мы уж не бежим, а летим сверху, «воздух режем». И я уж будто знаю, – хотя не смотрю, – что это вовсе не Лили, а Наталья Павловна со мной, – ее я за руку держу. И вдруг рука рванулась вниз, я испугался, но удержал, не выпустил; тогда она рванулась вверх, я опять не выпустил, и уж легко скользнул за ней вверх; полого – но все выше, и все скорее, так, что дух стало захватывать; по-особенному захватывать, по-сонному, по-необъяснимому: этого наяву не бывает даже в самой громадной радости. И когда уж нельзя больше вытерпеть, в эту минуту кто-то зовет: Сережа! Сережа!

Я открыл глаза, – и точно откуда-то упал в явь, как стрела. Сердце еще билось. На моей постели сидел дядя Миша. Он меня и звал.

– Сережа, ты спишь? У тебя был огонь, я зашел проститься. Последняя моя ночка у вас! Ну, надо ложиться, уж два

часа.

Значит, я спал всего сорок минут каких-нибудь! Дядя мне показался ничуть не сонным, глаза у него блестели, сам улыбался – но серьезно улыбался.

– Послушай, Сережа. Обещайся – хочешь? – что бы ни услышал потом обо мне – дурного не думать. Верить. Я хочу, чтоб мы навеки остались друзьями. И я тебе во всем буду верить. Люблю тебя, мальчик.

Я поднялся в постели, обнял его. Почему-то мне стало ужасно. И, вместе, радостно. Еще сон немножко во мне продолжался.

– Милый дядя, я обещаю! Будем всегда друзья. А ты мне тоже, – как ты сказал, – тоже верь!

Мы опять обнялись и поцеловались.

4

В классе, на другой день, – две истории. Войскович из последнего терпения выводил, да еще с другой скотиной, Ольшанским, по совсем постороннему поводу вышло... Ну, с этим у меня расправа короткая. А Войскович полез объясняться, говорить, будто я сам в чертовском настроении, придираюсь, и потребовал, чтобы я, в знак примирения, пришел к нему вечером: «Наши соберутся, настоящий поэт будет, и барышни. Приходи, ну что тебе, Лили очень просит».

Я ни от кого не скрываю, я держусь другого мировоззрения, а стихов вообще терпеть не могу. Если ему угодно называть это варварством – пожалуйста; за модерностью ихней не гоняюсь, реалистом был и реалистом останусь. Но так как сегодня все равно суббота, я сказал, что приду взглянуть, ради его сестры, к восьми часам.

У нас пообедали, кстати, рано: папа и мама собрались в театр; оттуда еще в гости поедут. Дядю Мишу утром никто на вокзал не провожал: он не любил.

Собрание у Войсковича было в столовой. Без старших, Лили сама чай разливала, но из нашего класса только двое, а то все какие-то вроде студентов, и один старый поэт с громадным пестрым бантом вместо галстука. Войскович подло юлил, обезьянил их манеры и важничал. Мне сразу стало противно. А потом пошла такая дрянь, что и рассказывать не

стоит. Пестрый бант объявил, что неоэстетизм должен убивать жизнь и мистику, потому что он будто бы какой-то наджизненный, сверхреализм. Как примеры этого, все зачитали разные глупые стихи, и даже Лили зачитала, хотя покраснела. Мне был выбор: или сделать скандал, или сразу уйти. У меня внутри все кипело, но ради Лили я решил не скандалить, просто уйти, и ушел.

На дворе падал снег, большими, мягкими хлопьями, такими частыми, что почти ничего не было видно. Я шел, распахнув шинель, снег падал прямо на лицо, а лицо все-таки горело. Не мог успокоиться.

И дома не успокоился, хотя дома тихо, темно, никого нет. Еще не поздно, часов десять, но прислуга ушла, бабушка далеко, я один.

Не хочется своей комнаты. В маленьком маминим будуаре подожгу камин, – дрова приготовлены, – устроюсь, успокоюсь, подумаю обо всем. Главное – быть спокойным, это тоже сила.

Да, я не люблю стихов. Ни этих чертовых новых, ни старых, – никаких. Не читаю их даже никогда. Но я должен открыть: есть на свете несколько... они для меня не стихи вовсе. А что-то другое. Они на меня так страшно-ужасно действуют, так необъяснимо, будто видишь наяву свой собственный сон. Я даже их боюсь, и, конечно, это не стихи, пусть другим они кажутся, чем хотят.

Наизусть их нарочно не учу, чтобы оставалась радость

вдруг прочесть, когда надо.

Сейчас стало надо. Книжка здесь, у мамы (сам ее туда прячу), вот и закладочка моя цела.

Жил на свете рыцарь бедный...

Господи, ну да, как ясно: жил рыцарь.

Духом смелый и прямой...

Он имел одно виденье

Непостижное уму...

Отсюда главное и начинается. Дальше я уж читал громко. Вслух, сам для себя, в каждом слове какие-то волшебные огни синие вспыхивали, непостижные уму. Я даже забыл, что лишь читаю про рыцаря, и когда дошел до самого последнего волшебства, – уж этот рыцарь был я: «Lumen coeli! Sancta Rosa!»¹ и дальше почти не мог читать. Sancta Rosa! Lumen coeli! Да, да, сами слова такие – меч, другого не надо. Меч поражающий.

Я остановился и странно успокоился. Мне сделалось хорошо, просто, чуть-чуть грустно. У каждого человека, наверно, есть какая-нибудь одна тайна. Пусть будет и у меня тайна.

Поправил в камине дрова, – они ярко вспыхнули, – собрался опять поуютнее устроиться в кресле. И вдруг – точно в передней позвонили. Точно едва тронули звонок, так тихо.

¹ Свет небес! Святая роза! (лат.).

Я прислушался. Ничего. Но звонили, наверно! Надо посмотреть. Побежал в переднюю, зажег огонь, отворил дверь.

Синий шарф Наталии Павловны весь был в снегу, снег таял, капли блестели.

– Мамы нет дома... – сказал я.

– Знаю. Так и думала. Так и боялась. Но вы дома, Сережа... Вы дома...

Я увидел, что она ужасно бледная и, может быть, сама не знает, что говорит.

– У меня здесь камин, вот здесь. Снег можно стряхнуть. Потом сейчас высохнет. А если что-нибудь случилось, так это ничего...

Она покорно пошла за мной в будуар, села в кресло, к огню, но шарфа не сняла, хоть он весь блестел каплями.

– Сережа, – сказала она опять, – вы дома, значит хорошо, только надо... – И замолчала, без сил.

Но я был спокоен.

– Ничего. Это ничего. Вы скажите скорее, что «надо».

Она подняла на меня глаза.

– Надо... поехать к Мише. Сказать, что я не могу. Я обещала, но я не могу... ребенка оставить. Надо, чтоб он понял, чтоб он поверил, как я не могу. Оставить ребенка – не могу.

До сих пор удивительно мне, почему я вдруг все сразу понял. Будто все давно забыл, забыл – и теперь вспомнил.

– Дядя Миша в городе? Еще не уехал? Как адрес?

– Вот... – Она сказала мне номер дома; на Моховой, ма-

ленькая гостиница. И прибавила торопливо, тихо:

– Я обещала в одиннадцать. Чтобы вместе уехать... с двенадцатичасовым. Я обещала, он знает, как я... И если сама поеду, – я боюсь, боюсь к нему! Я знаю, что не могу оставить ребенка. Он не поверит. А я не могу.

Ну еще бы она могла!

– Мне он поверит, я сам знаю, что вы не можете, я уж знаю. Я сейчас, в одну минуту. Хотите, вместе выйдем, я вас сначала домой...

– Нет, нет! – вскрикнула она. – Я подожду здесь, вы мне скажете, что он... Я и за него боюсь. Пусть он уедет, пусть он поверит, пусть он простит... Боже мой! Да что я делаю? – и она вдруг поднялась. – Как я смею вас просить? Что со мной?

Но я нахмурился.

– Не надо, оставайтесь, не надо, все хорошо. Я понимаю, я сделаю. Я сейчас вернусь, вы подождите спокойно. Спокойствие – тоже сила.

Хотя близко – я сообразил, что если встретится извозчик, будет скорее. Но денег у меня не было. Побежал к себе, вытряс копилку, мелочь. Вернулся.

– Ждите же меня. Я через двенадцать-пятнадцать минут.

– Сережа!

Я обернулся в дверях.

– Сережа. Одно слово. Вы не думайте о нас дурно. Миша честный. Он не хотел – так... Он думал развод... Не знал, что я не могу оставить... Я сама не знала. Простите меня,

Сереза...

Я только кивнул головой. Скорее, скорее! И зачем она мне это говорит? Точно я сам все не понимаю!

5

Когда я вернулся, Наталья Павловна сидела так же, на том же кресле, будто и не пошевелилась ни разу. Только глаза, из-под синего шарфа, блеснули мне навстречу.

Я наклонился к ней, к низкому креслу.

– Он велел вам дать... вот, кольцо. Он понял. Я так сказал, что он поверил. Я знал, что поверит. И будет любить всегда.

Наталья Павловна встала. Я жадно смотрел ей в лицо. Оно было ужасно светлое, а в глазах до краев стояли слезы, и не проливались.

Она не обняла меня, даже за руку не взяла. Она мне только низко-низко, в пояс, поклонилась, как бабы простые кланяются. Ничего не сказала, но зачем? Мы с ней оба и так все поняли, и никогда не забудем.

* * *

В эту ночь я видел сны – о Наде. О далекой-предалекой Наде, которая как голубая птица летала в небо на гигантских шагах. Утром сон помнится, и Надя была, как живая.

Надю я потерял, потому что был маленький и сам молился, чтобы потерять. А Наталью Павловну я потерял раньше, чем нашел. Впрочем, я не знаю хорошенько, потерял ли я их?

У меня в душе тайна, ее ни потерять, ни изменить ей нельзя.
Ведь не изменил же рыцарь: *Lumen coeli! Sancta Rosa...*

Тут не стихи. Я реалист. И я утверждаю, что все это – самая реальная реальность.